

Алексей Будищев

Горькая правда



Алексей Николаевич Будищев

Горькая правда

Аннотация

«Когда Надежда Павловна подъезжает к своей усадьбе, кругом воцаряется египетская тьма, и вся равнина, на которой брошена усадьба, превращается в чернильную кляксу.

Двое суток тому назад Надежде Павловне пришла в голову идея заглянуть в свое именье и кстати обревизовать управляющего, приглашенного ею заглазно два года тому назад. Ревизию свою ей хотелось произвести внезапно, и потому телеграммы о своем прибытии она не давала, намереваясь прожить сутки или двое не в своем деревенском доме, как это она делала обыкновенно, а во флигеле управляющего.

И вот она едет на ревизию...»

Алексей Будищев

Горькая правда

Когда Надежда Павловна подъезжает к своей усадьбе кругом воцаряется египетская тьма, и вся равнина, на которой брошена усадьба, превращается в чернильную кляксу.

Двое суток тому назад Надежде Павловне пришла в голову идея заглянуть в свое имение и кстати обревизовать управляющего, приглашенного ею заглазно два года тому назад. Ревизию свою ей хотелось произвести внезапно, и потому телеграммы о своем прибытии она не давала, намереваясь прожить сутки или двое не в своем деревенском доме, как это она делала обыкновенно, а во флигеле управляющего.

И вот она едет на ревизию.

Между тем, пока ямские кони везут ее среди чернильной кляксы к освещенным окнам флигеля, Надежду Павловну вновь осеняет идея: назваться вымышленным именем и рассказать целую историю, будто она едет туда-то, боится волков и просит о ночлеге. Таким образом она превесело проведет целый вечер, а утром откроет свое инкогнито. Эта мысль наполняет ее таким весельем, что она готова хлопать в ладоши.

Через час, вся свежая и благоухающая, она уже сидит за чайным столом и пьет чай вместе со своим управля-

ющим-агрономом Адарченко. В комнате светло и уютно. На всех предметах лежит печать профессии юного агронома. В углах торчит засушенное просо в сажень ростом, у письменного стола портрет красивой тирольки-коровы с великолепными формами, под столом тыква, похожая на Монблан. И все это очень нравится Надежде Павловне. Они сидят и пьют чай. Она в каком-то соблазнительно-шелестящем наряде, он в грубых высоких сапогах и грубого сукна куртке, из-за которой пестреет расшитый ворот малороссийской рубахи, завязанный красной лентой. Ее лицо все движется и играет, как шампанское, жизнью, весельем, смехом, а он угрюм. Очевидно, присутствие женщины его стесняет, – и его лицо, юное и симпатичное, принимает выражение тупого, чисто хохлацкого упрямства. Она сыпет на него вопросами, атакует его и так, и сяк, и эдак, а он хмурит бровь, сутулится и отвечает ей фразами сухими и отрывистыми, как пи-стоletный выстрел.

– Вот, например, ваша хозяйка, – болтает Надежда Павловна, играя глазами, – я слышала, она очень милая, умная и веселая женщина. Почему же вы не заехали в Москву познакомиться с ней, когда ехали мимо. Вы дикарь, вы ужасный дикарь! Ну разве же можно быть таким необщительным?

– Почему вы знаете, что Надежда Павловна умная и милая женщина? – угрюмо спрашивает ее, в свою очередь, Адарченко.

– Я слышала, мне говорили.

– Вам соврали; она хлупая, – говорит Адарченко, произнося букву «г» по-хохлацки с сильным придыханием, почти как х.

По лицу Надежды Павловны скользит легкая тень смущения. Однако, она сейчас же оправляется.

– Почему вы думаете, что она глупая?

Адарченко угрюмо сутулится.

– Я не думаю, а знаю это наверное по ее письмам, – отвечает он, – она хлупая и безхрамная. Она пишет мне: «Сколько десятин вы думаете засеять на будущий ход пшеном?» Во-первых, пшено написано через «е», а засеять через «с»; а, во-вторых, каждый дурень знает, что сеют не пшено, а просо.

По лицу Надежды Павловны снова скользит тень смущения.

– Ну, это такие пустяки... – говорит она, шелестя платьем.

– И при этом она очень скупа, – угрюмо продолжает Адарченко, – жестокосерда и на рабочих смотрит, как на скотов. Пишет мне: «Не дорохо ли вы платите за работы?» Дорохо платите! Это за лошадиный труд-то! А на что ей деньхи? На хлупая тряпки? По Москве хфорсить?

– Ну уж вы... – смущенно шепчет Надежда Павловна, но Адарченко ее перебивает.

– Хфакт, – говорит он, произнося букву «ф» с сильным придыханием, – хорькая правда!

Он пожимает плечами, сутулится, и все его юное лицо

дышит искренним презрением. Надежда Павловна слегка ежится под его взглядом.

– А многие умные люди, – пробует она защищаться, – всегда говорили ей, что у нее нежное сердце, тонкий ум...

– Мужчины ховорили? – перебивает ее Адарченко.

– Мужчины.

– В хлаза?

– И... и... в глаза.

– Какой же дурень скажет женщине в хлаза, что она хлупа, как охлобля? – вопросом отвечает ей Адарченко. – А вы бы послушали, что эти же самые мужчины ховорят о ней за хлаза? Вы не слышали, а я слышал. Доронин, Сапожников, Сихизмундский, все соседи, близко ее знающие, вы послушали бы, как они о ней отзываются за хлаза?

– Как?

– Так же, как вот и я. Хлупая, нахлая, подлая.

Надежда Павловна едва не подскакивает с кресла. Ей хочется крикнуть: «как вы смеете, наглый вы человек!» Но она спрашивает:

– Это за что же?..

Она опускает загоревшиеся глаза, разглядывает кольца на своих тонких пальцах и гневно теребит кружева. По ее движениям, резким и порывистым, видно, что она раздражена до последней степени, что ей хочется бить посуду, но она сдерживается. Адарченко сутулится еще больше.

– А вы не слышали ее истории с мужем? – спрашивает

он ее.

При этом вопросе глаза Надежды Павловны тухнут, лицо слегка бледнеет, а на ее лбу, под глазами и в углах губ, появляются тени.

– Н-нет... то есть да... то есть не совсем... – шепчет она.

– У нее был муж, – с расстановкой говорит Адарченко, – умный, честный, дельный; человек, вот именно, каких мало. Она от него сбежала с каким-то хнусным хфертом. Хфлиртовать захотела; сына с собой взяла, а мужу дочку оставила. А потом пишет мужу: «давай меняться, мне девочки больше нравятся». – Это нехлупо? – спрашивает Адарченко Надежду Павловну.

Та молчит и сидит, опустив глаза. Адарченко переставляет ноги и продолжает:

– А девочка захворала корью и умерла: корь застудили, не дохлядели. А кому было за ней смотреть? Отцу некогда, – отец с утра до ночи по полю мычится, деньги добывает, жене на хфлирт. А хорничная мне ховорила, девочка перед смертью все мать звала: «мама, мама, мама!» – Это не подло? – спрашивает Адарченко Надежду Павловну.

Та молчит, тени на ее лице растут. Ресницы и уголки ее розовых губ начинают вздрагивать.

– Если бы она знала об этом, то поверьте... – наконец, шепчет она.

– Что знала? – упрямо перебивает ее Адарченко, – что больные дети мать к себе зовут? Если она не знала

об этом, значит, она холая дура!

Он встает и взволнованно ходит из угла в угол по комнате. Порою он подходит к окну и глядит на чернильную кляксу, чернеющую за окнами, а его лицо сразу выражает собою и бесконечную жалость к погибшей девочке и бесконечное презрение к ее матери.

– Да, – говорит он, слоняясь от угла до угла, – если бы не нужда, я бы не стал и работать для такой хнусной женщины. На что ей деньхи? Да, нужда, ничего не поделаешь. Брату двадцать рублей в месяц высылать надо. А где их взять?

Между тем Надежда Павловна сидит в своем кресле с потемневшими глазами и думает: «почему ей никогда в жизни не говорил ничего подобного ни один мужчина? Зачем ей льстили всегда и все? Зачем ей лгали? Зачем ей внушали в семье, в школе, в обществе, что покорять мужские сердца и блистать – самое почетное занятие для женщины? За что ее заставляют теперь выслушивать такие тяжкие оскорбления?»

Ей делается жалко самое себя до слез. Адарченко слышишь рыдания и оборачивается, Надежда Павловна сидит в кресле, поставив локти на стол и глубоко втиснув тонкие и бледные пальцы в крутые завитки черных волос. Ее голова трясется, она рыдает.

«Вот еще штука-то!» – думает Адарченко; он подходит к ней, трогает ее за плечо и говорит:

– Вы о чем? Что с вами? Да будет же вам! Вам жалко де-

вочки? Да? Вот видите, вам жалко, мне тоже жалко, до слез жалко, а мать в три хода ни разу не заглянула на ее мохилку! А вы еще за нее заступаетесь! Да будет же вам! – трогает он ее за плечо.

Однако, Надежда Павловна продолжает рыдать, и Адарченко с тоской думает: «чем бы ее утешить?»

При этом он вспоминает, что когда женщины плачут, им дают воды. Он подходит к самовару, берет стакан и цедит в него дымящейся воды.

– Натe вот, выпейте, – сконфуженно говорит он, поднося стакан к губам женщины.

Та делает глоток и тотчас же отстраняет стакан рукою. На ее губах скорбная улыбка, в глазах слезы.

– Вы мне весь рот обожгли, – говорит она, – вода горяча!

Она снова начинает плакать. Тем временем Адарченко бережно несет стакан к окну и ставит его на подоконник.

– Я вот сейчас остужу, вы подождите, не плачьте, – говорит он и думает:

«Вот чудная женщина! Святая женщина! Какое нежное сердце! Однако, я разжалобил ее на свою шею!»

Он снова сконфуженно подходит к ней и начинает ее утешать.

– Послушайте, перестаньте! – теревит он ее за плечо. – Ведь девочка, может быть, умерла и не оттого, что у нее мать убежала. Дети вообще часто мрут. Это уже их хфортунa такая. В деревнях вон 50 процентов умирает. Хфакт.

И мать ее, наверное, прекрасная женщина. Ведь мужчинам верить нельзя. Они за глаза о всех женщинах скверно ховорят. В глаза лебезят, а за глаза ругают...

Он долго говорит все в том же роде с каплями пота на лбу и слезами в глазах. Ему от души жаль эту чуткую к чужому горю женщину.

Мало-помалу лицо Надежды Павловны начинает светлеть, и через четверть часа оно все играет, как шампанское.

Только в конце вечера она на минуту задумывается. Как она раскроет, однако, завтра утром свое инкогнито?